



Valerie A. Kivelson,
Ronald Grigor Suny

Russia's Empires

New York, Oxford: Oxford University Press, 2017

Едва ли можно отрицать, что «империя» является неотъемлемой составляющей представлений о России — как о ее прошлом, так и о настоящем. И хотя сам термин фигурировал в названии государства немногим меньше двухсот лет, с 1721 по 1917 годы, «империя» часто воспринимается как внутренне присущая России форма организации власти. Особенно сейчас, спустя сто лет после того, как слово «империя» исчезло из названия российского государства, это понятие переживает новый пик популярности в качестве идеологического клише, дающего характеристику самым различным процессам, событиям и явлениям российской действительности — от культуры до внутренней и внешней политики.

Чем была империя для России, а Россия — для империи? Свой ответ на эти и многие другие вопросы дают профессора Университета Мичигана Валери Кивельсон и Рональд Суни. Их книга «Империи России» — это смелая попытка по-новому рассказать историю России от Средних веков до наших дней, отбрасывая привычный событийный канон и предла-

гая свежую интерпретацию взамен знакомого нарратива. Как признаются сами авторы, книга представляет собой продукт двадцати шести лет их размышлений и научных бесед. Не менее важно отметить и то, что книга суммирует многочисленные достижения в изучении имперской проблематики за последние два десятка лет. Возникший сперва среди историков Британии и часто называемый «имперским поворотом» всплеск интереса историков к имперскому прошлому привел к радикальному переосмыслению феномена *империи*. Это время стало переломным периодом и для изучения царской России, до неузнаваемости изменившим историографическое поле¹. Однако, несмотря на внушительное количество вышедших в свет публикаций, до сих пор не было синтетических трудов, которые бы обобщали опыт историографии Московского

¹ Об «имперском повороте» в историографии Британской империи см.: Ghosh D. *Another Set of Imperial Turns?* // *The American Historical Review*. 2012. Vol. 117, № 3. P. 772–93. Об историографии Российской империи см., например: David-Fox M., Martin A.M., Holquist P. *The Imperial Turn* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. Vol. 7, № 4. P. 705–712.

государства, империи Романовых и Советского Союза последних десятилетий под одной обложкой.

Кивельсон и Суни называют свой труд “не-учебником”, предлагая читателю “попытку новой интерпретации или аналитическое исследование вместо компендиума важных имен и дат” (Р. XIV).

Авторов интересует потенциал империи как категории анализа, наиболее адекватно, на их взгляд, объясняющей ключевые темы и моменты российского прошлого. Подобно авторам других ревизионистских работ, они интересуются не тем, почему империи распадались, но тем, почему им удавалось существовать на протяжении многих веков. Они также подчеркивают гибкость имперских структур, приспособляющихся и творчески реагирующих на вызовы времени. Кивельсон и Суни не считают принуждение и грубую силу главным залогом успеха империй, полагая, что устойчивость последних обеспечивалась иными стратегиями, инструментами и механизмами господства.

Итак, как же именно империя позволяет переосмыслить историю России? Анализ, предложенный Кивельсон и Суни, опирается на концептуальную модель, организованную вокруг двух ключевых категорий, с помощью которых они объясняют взаимоотношения между властью и людьми на обширном пространстве Российской империи (а также предшествовавших ей и пришедших ей на смену государственных форм) в долгосрочной перспективе. Понятие “различия” (difference), одна из центральных теоретических категорий “имперского поворота”, является стержневым и для “Империй России”². Каждый

регион, утверждают авторы, пребывал в различных отношениях с центром, и в каждом из них формы господства и контроля осуществлялись по-разному. Каждая группа населения — языковая, религиозная, сословная, классовая и т.д. — находилась в особом режиме отношений с властью. Империя была “намеренно построена на импровизированном партикуляризме, на специальных договоренностях, дифференцированных правилах, требованиях и уступках” (С. 109), и, хотя “особые условия изменялись от группы к группе, общее явление особых соглашений и дифференцированных прав было характерной чертой империи” (С. 129). При этом само существование различий не было стабильной социальной реальностью, данностью, с которой империи приходилось считаться. Наоборот, оно было следствием “преднамеренного строительства и поддержания различий и разграничений” (С. 3). Предлагаемая Кивельсон и Суни модель изображает империю одновременно сокрушающей, воссоздающей и изобретающей разнообразие на протяжении большей части своей истории с помощью конструирования новых социальных категорий и наделения их особенными правами и обязанностями.

Концептуальная схема Кивельсон и Суни, опирающаяся на результаты множества новейших исследований, наглядно иллюстрирует бессмысленность доминировавшего до недавнего времени представления о единой, унифицирующей и репрессивной стратегии “России” в отношении “нерусских” народов и “национальных вопросов” имперских окраин. В итоге само представление о неизменно привилегированной метрополии и неизбежно ущемленных в правах перифериях перестает казаться самоочевидным.

Период самодержавия, длившийся с XVI века, наиболее полно вписывается в модель управления через различия, но авторы прослеживают организацию политического и социального пространства империи, основанного на различиях, начиная с Киевской Руси. Именно этническое разнообразие подчиненных князьям племен, воспринимаемое как единственно возможная норма, “предвосхитило и положило начало последующим имперским режимам” (С. 37).

2 Как еще в 2000 году писала Кэтрин Холл, “[н]овые пути теоретизации различий являются центральными для задачи написания новых имперских историй”. См.: HALL C. *Introduction: Thinking the Postcolonial, Thinking the Empire* // HALL C. (Ed.) *Cultures of Empire: Colonizers in Britain and the Empire in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A Reader*. Manchester: Manchester University Press, 2000. P. 16. Понятие “различий” в качестве главной аналитической категории похожим образом используется в других обобщающих работах. См.: BARKEY K. *Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2008; BURBANK J., COOPER F. *Empires in World History: Power and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 2010.

С другой стороны, более непосредственным фундаментом для имперской системы последующих веков стало устройство монгольской власти. Вопреки приписываемому ей деспотизму, монгольская власть предоставила русским князьям модели управления населением, в основе которых было сохранение и поддержание культурных различий, кооптация элит и предоставление им широких полномочий в местном управлении (С. 41). Распад Российской империи не привел к исчезновению имперских практик дифференциации. Советский Союз в первые десятилетия своего существования был “во многих смыслах новой формой империи”, хоть и построенной на антиимперской и антиколониальной риторике. Государство продолжало опираться “на имперские различия между людьми, классами и территориями”. Различия, определенные сверху и четко зафиксированные, вели к дискриминации населения — “иногда в его пользу, иногда во вред” (С. 299).

Если категория “различий” объясняет принципы, лежащие в основе архитектуры имперской конструкции, то вторая важная категория дает возможность взглянуть на имперский проект с перспективы тех, кто осознанно или поневоле участвовал в его поддержании. Главной головоломкой для авторов, по их признанию, было понять “значение политической мобилизации и вовлеченности в условиях недемократического государственного порядка” (С. XIII). Ключом к пониманию стала метафора “взаимности” (reciprocity), т.е. “взаимных уступок со стороны властей предрежащих и их подданных”. Как напоминают авторы, задачей имперских властей было утверждать свою легитимность и авторитет путем убеждения подчиненного населения в том, что правители имеют право править, а те, кем правят, получают определенные выгоды от этих отношений (С. 6). Самодержавие стремилось к абсолютной и неограниченной власти, но оно было невозможно без одобрения или хотя бы молчаливого согласия как элит, так и простых подданных, их активного или пассивного участия в делах империи. Авторы прослеживают проявления взаимности в широком спектре политических и социальных явлений. Таки-

ми были Земский собор, который они считают каналом коммуникации между царем и народом (С. 48–49), и призвания на царство в Смутное время (С. 92). Выражением взаимности, вернее, недостатком ее были и обстоятельства прихода к власти правителей в эпоху дворцовых переворотов в XVIII веке (С. 107). Даже крепостное право, как следует заключить из слов Кивельсон и Суни, можно рассматривать как форму взаимности, поскольку оно подразумевало не только прикрепление крестьян к земле, но и привязку земли к крестьянам (С. 113). Лишь к концу XIX века, с ростом правового сознания среди разных слоев населения и растущим запросом на новые права и свободы, взаимность перестала удовлетворять потребности подданных империи, которые начали требовать качественно иных форм включенности в управление своей судьбой (С. 241). Однако и в XX веке, даже в разгар сталинских репрессий, взаимность в форме патрон-клиентских отношений и потоков петиций советских граждан партийным вождям продолжала обеспечивать жизнеспособность государственной системы (С. 325).

Разумеется, авторы далеки от идеализации отношений власти и населения. Взаимность могла быть чем угодно: от искренних верно-подданных чувств до — чаще — условной лояльности, оппортунизма и стремления различных групп и индивидуумов получить от власти заступничество или определенные выгоды. Но эта категория раскрывает отношения господства и подчинения в царской России куда более полно, чем деспотизм или наивный монархизм, которые создавали картину, игнорирующую субъектность (agency) подданных империи.

Концептуальный аппарат авторов позволяет им по-новому взглянуть на многие аспекты исторических процессов. И все же империя не является для Кивельсон и Суни единственной рамкой анализа. Помимо нее, авторы постоянно обращаются к еще одной аналитической категории, гораздо более традиционной и привычной для исследований в области российской истории прошлых десятилетий — *нации*. Но, в отличие от “империи”, они делают это куда менее последовательно, а часто и вовсе в заметном противоречии с самими собой.

“Понятие «нация» лежит в основе нашего исследования”, — заявляют авторы в самом начале введения (С. XIII), уже на следующей странице оговариваясь, что использование “нации” в качестве аналитической рамки хотя и было отправной точкой их работы, но все же оказалось недостаточным для понимания измерений российской истории, которая представляла для них наибольший интерес (С. XIV). Более того, “империя” как рамка для анализа дала им возможность выбраться из “бесконечно заикленных дебатов о том, выработали ли русские чувство принадлежности к нации и если да, то когда” (Р. XIV). Подчеркивая новизну своего подхода, авторы уверяют, что, в отличие от многих других исследований в области российской истории, их книга не ставит перед собой задачу отыскать “корни русской нации” (Р. 5).

И все же поиски нации — это именно то, чем с переменным успехом, но с удивительным постоянством занимаются Кивельсон и Суни почти на всем протяжении книги, начиная если не со средневековой Руси, то как минимум с Московского государства. По мнению авторов, некоторые теоретики, которым мы обязаны представлением о нации как о современном конструкте, “часто выплескивали с водой ребенка, не сумев заметить более ранние «национальные» формирования и коллективные идентификации этнических и религиозных групп” в период, предшествовавший французской революции (Р. XIII).

Кавычки вокруг слова “национальные” не отменяют использования категории нации как референтной точки. Создается ощущение, что для авторов *нация* служит мерилем, с помощью которого они оценивают чувство общественной солидарности на разных исторических этапах. Мобилизацию населения в 1612 году для отпора полякам авторы называют одним из первых примеров появления нового ощущения общности. И хотя опыт Смутного времени не был “национальным пробуждением”, он все же “способствовал появлению нового коллективного сознания и укрепил чувство включенности в царское государство” (Р. 59). Примерно в том же ключе авторы рассматривают историю противостояния протопопа Аввакума и патриарха Никона.

В том, как Аввакум критикует религиозные реформы, и в его приверженности церковной традиции они прослеживают “зерна гораздо более позднего культурного национализма девятнадцатого века” (Р. 60).

В XVIII веке “национальное сознание” российских элит “растет”, хотя оно не дотягивает до уровня национализма XIX века. Дискурс о нации, пишут Кивельсон и Суни, все еще пребывал в самом зародыше (Р. 121). Однако и в начале XIX века “национальная идентичность” высших классов — имперского двора, дворянства, части мещан и интеллектуалов, не говоря о простых слоях населения, — по-прежнему была “зарождающейся” (Р. 152). Уваровская “официальная народность” также “не была схожа с современной нацией”, а отражала ожидания властей от того, каким должен был быть русский народ — послушным, покорным и преданным (Р. 160). Удивительно, но, несмотря на то, что авторы пишут о грядущем всплеске национальных приверженностей в XIX веке в главах, повествующих о более ранних периодах, в той части книги, которая посвящена XIX веку, нация продолжает оставаться недостижимым идеалом и пребывать в зародышевом состоянии. В государстве Романовых национализм не преуспел ни в центре, ни на периферии. Как пишут авторы, даже в последние годы Российской империи большинство нерусских народов “не только не сформировали сплоченных массовых национальных движений, но даже не смогли убедить большое количество своих потенциальных сторонников в преимуществе национального пути над продолжением жизни в империи” (Р. 252).

Царская Россия, пишут Кивельсон и Суни, развалилась не из-за националистических движений на периферии империи, но из-за прогрессирующего ослабления и распада центра (Р. 266). Язык и риторика нации широко распространились в годы Первой мировой войны, когда их использовало военное руководство в мобилизационных целях, но национальная сплоченность оставалась слабой. “Какие бы ростки национализма ни взрастили военные, они зачахли в социальной поляризации и подъеме классовых, региональных, деревенских и этнических идентичностей,

которые подавили межклассовые связи гражданской русской нации” (Р. 259). В отличие от Российской империи, Советский Союз организовывал социальное разнообразие вокруг национального идеала, выступая не “угнетателем наций, а их создателем” (Р. 290), “инкубатором новых наций” (Р. 281). Но даже в 1930-е годы, вопреки усилиям государства, “идентификация с абстрактной нацией оставалась аморфной” (Р. 310).

Безусловно, авторы книги бесконечно далеки от методологического национализма и предельно аккуратны в своих выводах, но от этого еще удивительнее та частота, с которой они проводят ревизию национальных чувств лишь для того, чтобы их не найти.

В конечном итоге нация и империя предстают в книге двумя полюсами единой оси координат, которая задавала направление политического развития в государствах Европы начиная с XVIII века. Ни тогда, ни в XIX веке империи вовсе не выглядели устаревшими формами правления. В этот период “дух империализма обладал гораздо более сладким ароматом”, чем мы привыкли считать (Р. 75). Нация с ее идеями о равномерном распределении прав и обязанностей между членами и народном суверенитете была антиподом дифференцирующих практик империи. Чем дальше от империи — тем ближе к нации, и наоборот. Тем не менее, Кивельсон и Суни подчеркивают, что одни и те же государства могли применять модернизирующие и гомогенизирующие практики управления наряду с противоположными им практиками, которые создавали новые и укрепляли старые различия, привилегии и уязвимости (Р. 234). Подобные противоречия особенно ярко наблюдаются в Российской империи с конца XIX века, а для Советского Союза они и вовсе представляли собой суть организации государственной власти (Р. 307–308). Авторы признают, что нация и империя как идеальные типы не могут описать всей сложности практик управления и их комбинаций, а потому такие противоречия характерны и для национальных государств, которые в отдельных аспектах могут быть немножко империями, и для империй, которые, как правило, имели

“национализирующий” импульс³.

Не останавливаясь на встречающихся в книге мелких опечатках, отметим ряд незначительных, но бросающихся в глаза ошибок и неточностей. Так, авторы ошибочно относят дату окончания первой русско-турецкой войны к 1771 году (Р. 135). На карте, изображающей этнические группы Российской империи, почти весь Крым, за исключением Керченского полуострова, заселен украинцами, зато Кубань показана исключительно (велико)русской (Р. 195). При всей грубости и условности картографических репрезентаций “этнического” расселения, внутренняя логика здесь нарушена дважды (не говоря о присутствии таких городов, как Ленинград, Горький и Свердловск на карте Российской империи). Выглядит странным утверждение, что украинцы, белорусы и литовцы назывались в имперской номенклатуре соответственно “Little, White, and Red or Black Russians” (Р. 196).

Однако мелкие недочеты, подобные этим, встречаются в “Империях России” на удивление редко, особенно по сравнению с другими книгами такого жанра. Валери Кивельсон и Рональду Суни удалось создать взвешенную, вдумчивую и ревизионистскую — в наилучшем смысле этого слова — интерпретацию российской истории. Их книга выглядит одновременно и осторожной, и амбициозной в своей задаче переосмыслить традиционный исторический нарратив. Это также самая удачная на сегодняшний день попытка интегрировать истории периферий империи в историю России и наоборот. Авторы “Империй России” подводят итоги историографии последних десятилетий, предлагают свой взгляд на современное положение дел и вместе с тем намечают контуры для будущих исследований.

Александр Поляничев

3 Свой вариант того, как снять это понятийное напряжение, недавно предложил Питер Джудсон, показывая на примере Габсбургской империи, что концепции нации и империи скорее “развивались в диалоге друг с другом, нежели были бинарными противоположностями”. См.: JUDSON P.M. *The Habsburg Empire: A New History*. Cambridge: Harvard University Press, 2016. P. 8; а также обсуждение этого тезиса в: *An Imperial Dynamo? CEH Forum on Pieter Judson's THE HABSBURG EMPIRE: A NEW HISTORY* // *Central European History*. 2017. Vol. 50, № 2. P. 236–259.